

РУССКАЯ КРИТИКА

$\frac{\Lambda}{3-36}$

В. И. ЗАСУЛИЧ

Статьи
о русской литературе



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Для Писганова

№ 1583

О РОМАНАХ СТЕПНЯКА

(«КАРЬЕРА НИГИЛИСТА», «ШТУНДИСТ ПАВЕЛ РУДЕНКО»)

«КАРЬЕРА НИГИЛИСТА»

The career of a nihilist. A novel, by Stepiak *, London, 1889 **

I

Написанный по-английски и для английской публики роман Степняка является тем не менее первым беллетристическим произведением, рисуящим жизнь русских революционеров с знанием изображаемой среды, ее обстоятельств и настроения.

Действие романа охватывает лишь один год быстро менявшей свой характер жизни и деятельности революционеров; эта жизнь изображена в нем, в большинстве случаев, довольно бегло, крупными штрихами и в то же время далеко не всесторонне, и все-таки из него одного читатель неизмеримо лучше узнает революционеров, чем из всех вместе взятых, беллетристических произведений русской литературы¹, бравшихся изображать людей революционного движения².

* В вышедшем уже после смерти автора переводе роман озаглавлен «Андрей Кожухов».

** «Карьера нигилиста». Роман Степняка. Лондон, 1889 (англ.). — Ред.

Как мы уже сказали, действие романа охватывает один год. Автор не обозначает этого года, но его легко определить: это конец 1878 и первая половина 1879 года — последний год существования общества «Земля и Воля»³, к которому принадлежит герой и большинство действующих лиц романа. Было бы, впрочем, большой ошибкой искать в нем материала для фактической истории движения. Мы встречаемся здесь только с одним историческим событием: с покушением на жизнь Александра II; но и тут из действительности заимствованы лишь подробности самого факта покушения. В герое никто, наверное, не узнал бы Соловьева;⁴ не соответствуют также действительности и происшествия, повлиявшие на его решение. Тем не менее каждый, знакомый с движением того времени, узнает в романе этот переходной год, когда террор уже захватил значительную часть революционных сил, но к нему не была еще подыскана общая программа, и четыре сошедшихся террориста действительно имели очень много шансов оказаться, как это описано в одной сцене романа, обладателями четырех различных взглядов как на значение террора, так и на то место, которое он должен занимать в деятельности их организации. Это год самой напряженной и разносторонней, хотя и не систематической, деятельности революционеров. К этому году относятся самые сложные, требовавшие наибольшей затраты сил и средств предприятия с целью освобождения заключенных, большинство политических убийств и громадное большинство вооруженных сопротивлений при арестах. Но в то же время организация продолжает еще работать и в прежнем направлении. Половина членов «Земли и Воли» еще действует в деревне, рабочее движение в Петербурге, связанное с «Землей и Волей», начинает быстро развиваться; в прочно и хорошо устроенной типографии печатается журнал, и на все это благодаря прекрасной организации, состоящей почти исключительно из нелегальных, с избытком хватает сил и средств революционеров. На сцене романа мы видим из революционной деятельности только попытки освобождений и покушение на жизнь царя, да различные связанные с этой деятельностью эпизоды, вроде яркой, прямо из жизни выхваченной сцены тайного перехода через границу, свидания родственников с заключенными

и проч. Но как из разговоров действующих лиц, так и со слов самого автора мы узнаем, что ведется пропаганда среди рабочих, происходят сопротивления при арестах, упоминается и о тайной типографии.

Действие романа распадается на две чередующиеся между собою в изложении части. В одной, происходящей в Петербурге, революционная деятельность составляет лишь фон картины. Большинство действующих лиц — нелегальные революционеры, за сценой случаются обыски, аресты, идет революционная работа, о которой упоминается в разговорах, но на первом плане остается любовь тайком вернувшегося эмигранта Андрея Кожухова к молоденькой дочери либерального адвоката, Тане, в начале романа еще мирно живущей в родительском доме, а затем принятой в революционную организацию. Здесь мы заняты главным образом историей этой любви, недоразумениями, заставляющими Андрея вообразить, будто Таня любит его друга Георга, а затем разъяснением этих недоразумений и соединением влюбленных.

Другая часть романа происходит в провинциальном городе Дубравнике, где содержится в тюрьме друг Кожухова, Борис. В этой части весь интерес сосредоточен на ходе следующих одна за другой попыток освобождения Бориса, которые предпринимает его жена Зина при помощи нескольких революционеров, и в их числе приехавшего из Петербурга Кожухова. Сперва ведется подкоп. Он открыт, и тотчас же составляется новый план освобождения арестантов вооруженной силой на улице, когда их поведут на допрос. Сцена нападения на конвой — одна из самых ярких и живых в романе. Революционеров снова постигает неудача: двое из арестованных освобождены, но Борис остается в руках жандармов. Зина с несколькими друзьями решаются продолжать свои попытки освобождения, Кожухов же, сильно разыскиваемый, так как он играл главную роль в нападении на конвой, возвращается в Петербург.

Через несколько времени попадают в руки жандармов и сами освободители. Они отстреливались при аресте, присоединены к процессу Бориса, и им грозит смертная казнь. Местные революционеры решают освободить их всех вместе с Борисом и избирают

Кожухова своим предводителем в этом предприятии. Следующие главы: суд над революционерами, подготовка освобождения, неудача и казнь заключенных составляют содержание довольно цельного отрывка, напечатанного во 2-ой книжке «Социал-Демократа».

Такое распадение романа на два повествования, связанные лишь личностью героя, переезжающего из Петербурга в Дубравник и обратно, причем в Петербурге мы не слышим о Дубравнике, а в Дубравнике забываем о любви героя, ослабляет отчасти цельность интереса и художественное впечатление романа. Но этот недостаток выкупается последними главами, где оба сюжета: любовь и борьба сливаются в одно целое.

Как читатель помнит, вероятно, напечатанный нами отрывок заканчивается намеком Кожухова на зародившееся в нем намерение убить царя. Через несколько дней он является в Петербург с установившимся уже планом, и теперь петербургская идиллия сталкивается наконец с революционной горячкой Дубравника, приведшей Андрея к его решению.

Это положительно лучшие главы романа. До них автор является прекрасным рассказчиком, ярко и живо рисуя сцены и происшествия в военной, происходящей в Дубравнике, части своего повествования. Часть, происходящая в Петербурге, — это грациозная любовная повесть, в ней встречаются очень верные психологические черты, например: зарождение ревности в душе героя, но таких повестей немало и в русской и в европейских литературах. Зато последние главы: душевное состояние Кожухова во время приготовлений к царевубийству, в особенности же сцены между Таней и ее мужем, открывшим ей свое решение, показывают в авторе способность к более высокому художественному творчеству. В этих сценах он выказал, по нашему мнению, черты сильного драматического таланта, сумевши в немногих, самых простых словах Тани показать нам весь трагизм душевного состояния этой молодой женщины, у которой любимый человек добровольно идет на верную смерть, и она не может ни помешать этому, ни разделить его участь и вынуждена сложа

руки ждать целые недели, пока длятся приготовления к покушению.

Сперва она еще не верит в невозвратность решения и пытается спорить против него. Для нее в эти минуты дело не в царе, а в неизбежно связанной с выстрелом в него казни любимого человека. Но она революционерка, член «Земли и Воли». Она привыкла к мысли, что все личное, все индивидуальные страдания ничто перед делом; поэтому, хотя все существо ее противится ужасному решению, она совершенно искренне хватается для борьбы с ним за доводы чисто делового характера. Ей надо страшно спешить убедить своего Андрея, пока он не успел еще сообщить плана товарищам. Раз те примут его (а они наверно примут, ужасалась про себя Таня), спорить будет уже поздно, решение Андрея станет обязательным для него самого. Но ее аргументы, первые попавшиеся аргументы, за которые она хватается, как утопающий за соломинку, производят на мужа скорее обратное действие. Он одушевляется, горячо защищая свое решение.

«Она чувствовала, что теряет почву. Она не знала, что сказать, что делать. А замолчать, уступить было слишком ужасно.

— Погоди минуту, Андрей, дорогой, — сказала она, удерживая его за руки, как будто он собирался тотчас же уйти от нее. — Одну минуту. Я хочу еще сказать тебе что-то... очень убедительное. Но не могу вспомнить... Все это так ужасно, что у меня голова кружится... Дай мне подумать...

Она стояла подле него, опустивши глаза и нагнувши голову.

— Я буду ждать сколько хочешь, — сказал Андрей, целуя ее побледневший лоб. — Не будем больше говорить об этом сегодня...

Она отрицательно покачала головой. Нет, она должна сейчас же отыскать свой забытый аргумент. — Крестьяне верят в царя... — Нет, это не то! Та часть общества, которая теперь остается нейтральной... — Не то, опять не то!

Вдруг она вздрогнула всем телом, и ее губы побелели; она нашла свой великий аргумент, свой последний оплот и увидела, как слаб он был и в то же время как ужасен.

— Что будет со мною, когда они убьют тебя!..»⁵

II

Центральной фигурой романа, около которой группируются все остальные, является Андрей Кожухов. Автор с видимой любовью рисует его с различных сторон, в различных положениях. Он часто очень тонко, очень верно отмечает те или другие душевные движения своего героя, и тем не менее фигура этого героя остается неясной, не складывается для нас в живую, конкретную личность.

Мы видим из романа, что Кожухов способен сильно любить. Он глубоко страдает, когда думает, что любимая им девушка влюблена в другого, а когда эта девушка стала его женой, он говорит ей такие поэтические любовные речи, что, взятые отдельно, они составили бы положительно прекрасный любовный гимн. Он храбрый из храбрых, хладнокровный в опасности предводитель и организатор труднейших нападений. В последних главах, наконец, он является страстным, безгранично самоотверженным фанатиком.

Все эти черты характера героя обрисованы довольно ярко, но они все же не сливаются в один цельный образ, из них не выходит определенной живой индивидуальности. Как мы только что сказали, автор часто делает, говоря о Кожухове, очень верные, иногда очень глубокие в психологическом отношении замечания, но эти замечания верны вообще по отношению к сильно любящему человеку или испытанному революционеру в положении Кожухова и вовсе не дорисовывают для нас *его индивидуальной личности*. То же можно сказать почти о всех женских лицах романа: они слабо индивидуализированы. Потрясающе живо и естественно изображено душевное состояние Тани в последних главах, но она является в них все-таки не индивидуальным характером, а олицетворением молодой, любящей революционерки, муж которой идет добровольно на верную смерть. Но из того же романа видно, однако, что автору далеко не чужда способность создавать живые, индивидуальные личности. Некоторые из второстепенных лиц романа являются перед нами совершенно живыми людьми со своей индивидуальной физиономией. Это, по преимуществу, не эффектные, не блестящие герои (хотя тем не менее настоящие герои,

в общем, не романическом смысле этого слова), а те, в изображение которых автор вкладывает немножко ласковой, добродушной насмешки, те, которые отличаются от остальных лиц своими привычками, манерами или специальностью, в которых заметен некоторый элемент чудачества. Герои же безукоризненно блестящие и изящные остаются для нас туманными образами.

Как известно, идеальные герои вообще редко удавались в литературе. Мы вовсе не думаем, однако, чтобы неполная удача автора зависела от излишней идеализации, вложенной им в обрисовку своих героев, от его неумения подметить теневые стороны их характеров или от умышленного умалчивания об этих сторонах. Ведь он рисует людей, принадлежавших к действующей революционной организации, являвшейся руководящим центром всего движения. Не могли эти люди не быть храбрецами, всецело преданными своему делу, — иначе они не попали бы в эту организацию, пополнявшуюся лишь революционерами, уже доказавшими свою способность с успехом служить делу. Не могло проявляться в их характерах и тех, если не дурных, то во всяком случае будничных черт обычной житейской пошлости, мелкого житейского эгоизма, личного или семейного, — тех мелких черточек, которые почти неизбежно накладываются на характер даже очень блестящих людей обстоятельствами, со всех сторон опутывающими их среди обычных житейских отношений. Изображенный в обычной среде идеальный герой не может не явиться ходульной личностью. Здесь самые достоинства, переходя за известные пределы, слишком превышая обычный в данной среде уровень, необходимо ведут за собою соответствующие этим достоинствам недостатки, непременно проявляют свою оборотную сторону. И правдивый художник, рисуя своего героя в обычной среде, должен отметить обе стороны взятого им характера.

В другом положении находится художник, взявший своих героев из мира нелегальных, организованных революционеров. Этот крошечный, по численности, мирок, сумевший создать для себя, среди всеобщего пассивного прозябания, широкое поприще свободной общественной деятельности, захватывающей все силы и помыслы человека, тем самым уничтожил в своей среде

Почти все обычные условия и отношения, а следовательно, и всякую возможность проявления личных недостатков, обуславливаемых этими отношениями.

Поясним нашу мысль примером. Тургеневский Рудин — это очень умный, образованный человек и талантливый пропагандист, умерший смертью героя. Его умственная живость, богатство инициативы, жажда общественной деятельности заставили его целую жизнь заниматься тем же, чем занимался некрасовский герой, который «по свету рыщет, дела себе исполинского ищет»⁶, будя мимоходом ум и общественное чувство попадавшейся на его дороге чуткой молодежи. Герцен совершенно прав, когда говорит, что слово Рудина было его делом, и очень важным делом. Но, раздаваясь среди практических, благоразумных людей, занятых своими «делами», оно казалось полнейшим бездельем — казалось не только другим, даже самому Рудину. Делами он считал свои, постоянно кончавшиеся неудачами, попытки влиять на богатых помещиков в смысле преобразований в их имениях (ради устранения крепостного труда, по всему вероятно), на начальство гимназий для изменения преподавания и т. п. Но так как эти дела не удавались, а речи Рудина не казались, не считались делом, перед ним могли кичиться все мелкие, окружавшие его практики. При этом, в противоположность некрасовскому герою, его никакое «наследство богатых отцов» не «освободило от малых трудов»⁷. Невозможность посвятить себя этим малым трудам, необходимость всегда «жертвовать своими личными выгодами, не пускать корней в недобрую почву, как бы жирна она ни была» (слова примирившегося с ним Лежнева), вытекала для него из его «политической природы», по определению того же Лежнева. Жирной и вместе доброй почвы для таких натур не было тогда в России, да нет и теперь. Но эта неспособность настойчиво заботиться о своих личных выгодах, при отсутствии богатого наследства, часто ставила его в фальшивое, унижительное положение какого-то приживальщика, «лизоблюда», как отзывается о нем взяточник Пигасов, заставляла занимать без отдачи деньги у своих богатых знакомых. И в первой части, где Рудин является еще полным сил, не сломленным жизнью человеком, автор не поспешил на щелчки своему герою. Все окружающие его, глубоко

сидящие в «жирной почве», практичные люди делают о нем *преехидные и преосновательные* замечания. Восхищаются им и подпадают под его влияние только очень юные и уже по этому одному совершенно непрактичные люди. «Этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он до основания переворачивал, зажегил тебя!» — говорит про него Басистов. Но, зажегши этих юных людей, Рудин оставлял их гореть и зажигать других, как знают и могут. Ему некуда было вести их за собою, он не мог дать им никакого определенного дела. Его задача — задача того времени — заключалась лишь в том, чтобы разбудить в людях стремление к общему и великому, внушить им первую мысль о том, что есть, что могут быть на свете иные интересы и иные дела, кроме личных, что «все великое совершается через людей», а не только через царей и генералов. Но людей даже с такими неопределенными стремлениями было еще слишком мало, никакое практическое дело еще не было возможно, а если бы и было, сам Рудин совсем не годился в организаторы. Он был прекрасный пропагандист, но не имел ни малейших способностей практического вождя: *он не умел узнавать людей*. А между тем проснувшиеся и именно поэтому ставшие «лишними», чужими в родной среде молодые люди оставались неудовлетворенными и начинали горько жаловаться на Рудина. Жалкую роль разыграл он также пред одним из этих молодых существ, Натальей, испугавшись ответственности, которую налагала на него ее готовность «идти за ним». Хотя, с другой стороны, вся дальнейшая судьба Рудина доказала как нельзя лучше, что он хорошо поступил относительно Натальи, побоявшись связать ее судьбу со своею. В то время вне семьи для женщины не было места, а ему ли было брать на себя ответственность за семью, за чужие жизни, когда он и со своею-то не мог справиться? Ведь он навсегда остался «бесприютным скитальцем», мы и через много лет встречаем его с продранными локтями, едущим в метель и выюгу на перекладных, даже не зная путем, куда ехать?

А вообразите себе того же Рудина, с его умом, с его характером, членом такой революционной организации, какие существовали у нас в семидесятых годах. Разумеется, содержание его речей было бы другое. «Бес-

общественных забот» успел к этому времени вселиться во все слои русского общества. Отвлеченное «дело» и гражданская скорбь успели превратиться в ходячую фразу. Те слишком туманные и неопределенные речи, которые в начале сороковых годов так сильно волновали молодых слушателей Рудина, в семидесятых не имели бы никакой силы. Он должен бы звать теперь на определенное дело; но революционер семидесятых годов мог звать на такое дело. Его могла дать революционная организация. В организации все слабые, теневые стороны характера Рудина отступили бы на задний план, а на виду остались бы одни блестящие. Его самолюбие, его бросавшееся в глаза сознание собственного превосходства потеряли бы свои наиболее шокирующие стороны. Товарищи по организации легко прощали бы ему это превосходство, так как оно являлось бы некоторым образом их общим достоянием. Да и в нем самом усиленное сознание своего «я» («скажет: «я», и с умилением остановится... «я, мол, я...», — ехидничал на его счет Пигасов), неизбежное при его одиночестве, не могло бы не превратиться хотя отчасти в «мы», в гордость значением своей организации. В ней и деятельность, и самое существование отдельного лица находились в теснейшей зависимости от деятельности всех остальных. Сознывая свое превосходство в одном отношении, он не мог бы не сознавать своих недостатков во многих других. Прекрасный пропагандист в среде образованной молодежи, Рудин, наверное, был бы никуда не годным организатором, плохим конспиратором и в этих областях не мог бы не признать превосходства многих товарищей и своей полнейшей от них зависимости. Потеряли бы всякое значение и те стороны его характера, из-за которых он становился в положение, позволявшее Пигасову называть его «лизоблюдом». Поглощение всех сил и средств организации общим делом и тесное товарищество, способное на такие жертвы друг для друга, на какие, при обычном, опутанном тысячу сетей существовании, не способна и самая близкая дружба, устраняли из этого мирка всякую тень личной борьбы за существование, беспечность в которой ставила Рудина в униженные положения.

Другой пример: Белинский в одной из своих статей о Пушкине делает, между прочим, такую характери-

стику современных ему русских «идеальных дев». «Они, обыкновенно, страстные любительницы чтения и читают много и скоро, едят книги... Все, что в ходу, о чем пишут и говорят в настоящее время, все это сводит их с ума. Но во всем этом они видят свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, то есть идеальность, — видят ее даже и там, где ее вовсе нет... Они питают непримиримую ненависть ко всему материальному. Эта ненависть у них часто простирается до желания вовсе отрешиться от материи. Для этого они моят себя голодом, не едят иногда по целой неделе, жгут на свечке пальцы, кладут себе на грудь под платье снегу... отучают себя от сна». В такой острой форме идеальничанье не может, конечно, долго длиться и при упорстве заканчивается той или другой болезнью; но следы прежнего настроения навсегда лишают этих женщин спокойствия и счастья. Это, разумеется, ни с чем не сравнимое настроение, какой-то совершенно отвлеченный протест. Но «как винить их в том, — говорит Белинский, — что вместо живых существ из них выходят нравственные уроды? Окружающая их положительная действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то, что непохоже, что диаметрально противоположно этой действительности»⁸.

Знание иностранных языков в среднем провинциальном дворянстве было в то время гораздо сильнее распространено среди женщин, чем среди мужчин, а «идеальные девы» были страстные читательницы. Они зачитывались художественными произведениями европейской литературы, по преимуществу романтической, отражавшей в себе умственное движение европейского общества того времени. Ничего положительного не давало и не могло давать им это чтение, но оно отрывало их от родной среды, оно ставило их во враждебное отношение к окружавшим их гоголевским типам, лишало возможности интересоваться бесконечными разговорами:

О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне⁹.

Разумеется, у немногих серьезно страдавших, искренне протестовавших против окружающей пошлости девушек были многочисленные подражательницы из

моды, из кокетства, чтобы казаться «интереснее», но не о них речь. Для тех же, которым действительно не было полного возврата в мирное, сытое и сонное существование окружающей среды, была лишь одна надежда, одно спасение: брак с каким-нибудь «идеальным героем». Не мудрено, что бедная Татьяна, в которой Белинский тоже видит «идеальную деву», только снабженную исключительно глубокой и страстной натурой, решается писать человеку, не подавшему ей ни малейшего повода заподозрить его в любви и которого она и видела-то всего один раз: «я твоя».

Твоей защиты умоляю..
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает;
Рассудок мой изнемогает;
И молча гибнуть я должна¹⁰.

Защитить ее он мог, конечно, не иначе, как женившись на ней, — и, как известно, не защитил.

Но вообразите таких же девушек с их напряженной внутренней работой в одиночку среди апатичной семьи, с той же тоской, но с иным умственным содержанием, в атмосфере 70-х годов. Силуэтов таких девушек попало немало в повестях и романах русских журналов. Такова, например, Лиза в романе Эртеля «Гарденины». Такова Надя в прелестной повести Стерн «Из гнезда»¹¹, забравшейся по какому-то недоразумению в «Русский вестник». Место слишком неопределенного и по преимуществу эстетического понятия «пошлости», пугавшей «идеальных дев», у девушек 70-х годов заняло не сколько более определенное нравственное понятие «несправедливости». Несправедливы источники дохода семьи, несправедливо, преступно их собственное сытое безделье, их привилегированное положение по отношению к низшим классам. Этим девушкам не могло уже прийти в голову специально заняться самомучительством. Им виднелся впереди иной выход, кроме замужества с идеальным героем. Они слышали о происходящем вдали движении, рвались к нему и при недостаточной энергии обыкновенно попадали в его сферу. Чтобы помочь им, новейшим Рудинным не было никакой надобности непременно влюбиться и жениться на них. Место

болезненной экзальтации и бесцельного самомучительства, до которого могли бы дойти и девушки 70-х годов, не будь для них никакого выхода, заняла горячая деятельность ради определенной общественной цели. Вместо уродливых, почти смешных (хотя очень серьезно несчастных) «идеальных дев» явились женщины, на характеры которых сами враги не могли набросить тени, не прибегая к самой наглой клевете.

За исключением моментов восстания, когда женщины рабочей среды не раз играли довольно значительную роль, самостоятельная общественная деятельность редко выпадала на долю женщин, и эти редкие женщины составляли, в большинстве случаев, исключительные явления по своим талантам или по своему положению. Ни по талантам, ни по положению русские революционерки 70-х годов не были исключениями. В их лице обыкновенные женщины — сотни таких женщин — добились редкого в истории счастья действовать не в качестве вдохновительниц, жен или матерей мужчин, а в качестве вполне самостоятельных, равных мужчинам общественных деятелей. И как ни велики те страдания, которыми правительство мстит этим женщинам за их недолгую деятельность, они, наверное, никому не позавидуют. Они были очень счастливы.

Но вот теперь, в 80-х годах, ослабело революционное движение, и — как вам кажется, читатель? — не воскресают ли в иных формах различные видоизменения «идеальных дев» и юношей иных времен? С одной стороны, они возрождаются, как нам кажется, в неопределенном разочаровании *во всем* современных любимых поэтов. С другой, на вид совершенно противоположной, стороны, они воскресают в деятельности толстовцев, во всевозможных земледельческих и иных упражнениях ради личного успокоения и совершенствования. Общее с идеальными барышнями здесь только одно, но это одно составляет самую суть дела. А суть заключается в том, что деятельность тенденциозных земледельцев направлена на самих себя, что — в противоположность революционерам — их целью является не изменение тех или иных общих условий существования их сограждан, а изменение своего собственного настроения, свое личное совершенствование. Ведь бедные барышни, о которых говорит Белинский, тоже думали своим голо-

даньем себя усовершенствовать. Уж очень опротивел им Петр Петрович Петух¹², который только и делал, что кушал, очень уж хотелось не походить на него.

III

Пора, однако, вернуться к роману.

Итак, если в характерах десятка революционеров, обрисованных Степняком, мы не видим ни одной положительно дурной черты, это не говорит еще о его тенденциозном пристрастии к своим героям. Их личным недостаткам не было возможности проявляться именно в тот период жизни, в котором берет их автор. В это время у них не было ни личных забот, ни отдельной личной жизни; она поглощалась жизнью организации и подчинялась тому делу, которое вела эта организация. Их личные характеры могли проявляться в своих существенных чертах лишь по отношению к этому делу, а люди, не относившиеся к нему безукоризненно, имели очень мало шансов попасть в хорошо выработавшуюся организацию. Не было между революционерами большой разницы и в нравах, манерах, обычаях. Попадались, конечно, чудаки, но, в общем, манеры и нравы революционеров, поскольку они не обуславливались паспортом, той ролью, которую приходилось играть в интересах дела, были просто-напросто нравами лучшей части нашего студенчества.

Мы не думаем, конечно, заняться разрешением совершенно бесплодного вопроса о том, почему именно не удалась автору те или другие из его действующих лиц, но, всматриваясь в его произведение, нельзя не заметить, как непропорционально мало отведено в нем места одному из важных элементов в жизни изображенного мирка, а именно умственной, идейной стороне этой жизни. А между тем в умственных физиономиях революционеров, в их способах мыслить и аргументировать было гораздо больше разнообразия, чем в их нравственных физиономиях, чем в их привычках и манерах. К тому же именно в тот год, к которому относится действие романа, в последний год существования «Земли и Воли» пред ее разделением, теоретические, «программные» вопросы усиленно обсуждались в среде револю-

ционеров и чаще обыкновенного давали повод к самым горячим спорам. О спорах такого рода упоминает и автор. Он даже рисует в начале романа картину одного из таких споров и передает нам из него некоторые отрывки, но в дальнейшем повествовании едва касается этого элемента в жизни своих героев. А между тем отрывки спора вышли у него очень удачно и умственная физиономия того из собеседников, которому он позволил говорить больше других, оказалась довольно рельефно очерченной на каких-нибудь двух-трех страницах. Мы приведем целиком этот спор, являющийся отдельной, законченной сценкой в романе.

Возвращаясь из Швейцарии, Кожухов встречается в пограничном прусском местечке со своим старым товарищем Давидом, специалистом по революционной контрабанде, который знакомит его с тремя только что переправленными им через границу соотечественниками: с Зацепиным, молодым человеком двадцати трех лет, членом «Земли и Воли», отправляющимся на время в Европу переждать усиленные розыски полиции; с Острогорским — господином средних лет, навсегда переселяющимся за границу из долговременной ссылки в провинциальном городке европейской России, и со студенткой Вулич, скомпрометированной в университетских беспорядках и едущей учиться в Швейцарию. Для Андрея интереснее других было знакомство Зацепина, как сочлена по организации. Они разговаривали между собой отдельно от остальной компании, пока Зацепин не выразил своего мнения об одном встреченном им в провинции кружке:

«— Это скопище болтунов, колеблющихся между политикой и социализмом, — объявил он со своей обычной прямолинейностью. — Они пытаются сидеть на двух стульях, а это не годится по нынешнему времени.

Это замечание заставило Острогорского, бывшего страстным спорщиком, наострить уши. Маленький человечек начал, заложив руки за спину, потихоньку приближаться к собеседникам. У него было уже дорогой несколько стычек с Зацепиным, но он жаждал еще сразиться. С легкой саркастической улыбкой он попросил позволения предложить Зацепину вопрос: что именно не годится, по его мнению, для нынешнего времени: сидеть на двух стульях или оставаться социалистом?

Зацепин резко ответил, что он уже знает, что говорит, и нисколько не сомневается в том, что все называющие себя революционерами и уклоняющиеся от участия в настоящем революционном деле — не более как болтуны, если не хуже!

С этим Острогорский был совершенно согласен, но у него было свое собственное определение *настоящего дела*. Прения заинтересовали также Вулич, и она подвинулась на край дивана поближе к спорящим. Сперва она слушала, затем стала вмешиваться, и разговор сделался всеобщим. Один Давид остался на своем месте и лениво болтал ногами, сидя на подоконнике.

Начавшийся спор становился все горячее и шумнее. И не мудрено, — так как скоро стало очевидно, что из пяти присутствующих революционеров-социалистов каждый был в чем-нибудь не согласен со всеми остальными и ни один не был склонен к уступкам. Зацепин был отъявленным террористом, отличавшимся простотой и прямолинейностью своих воззрений на все вопросы как практики, так и теории, а также счастливым отсутствием малейшего сомнения в чем бы то ни было. Аня Вулич была также террористкой — в теории, конечно, — хотя и не шла так далеко, как Зацепин, с которым она, кроме того, совершенно расходилась в вопросе о социалистической пропаганде среди рабочего класса. Острогорский и Давид оба склонялись к эволюционному социализму, но резко расходились между собою по вопросам о социалистическом государстве в будущем и политической деятельности в настоящем. Что касается до Андрея, он не мог вполне согласиться ни с одним из четырех, но, пробывши так долго вне революционного течения, он не имел, казалось, определенной системы и немного колебался. Он возражал то одному из спорящих, то его противнику, и в следующую минуту оба набрасывались на него с различных сторон и кричали ему в оба уха свои разноречивые возражения. Зацепин был сильно раздражен поведением Андрея. Человек с таким прошлым должен бы иметь более здравые понятия и без пустых околечностей тотчас же присоединиться к настоящему делу.

Прислонившись к камину, Зацепин твердо отстаивал свою позицию. Он должен был защищаться против всех остальных, старавшихся внушить ему ту мысль,

что вера в один террор слишком узка для социалиста.

— Так я вам скажу, что я *не социалист*, — объявил Зацепин, наступая на своих противников и произнося каждый слог отдельно, для пущей выразительности.

— Вот именно, — вскричал Острогорский торжествуящим фальцетом, — следовательно, вы буржуа, сторонник угнетения рабочего класса капиталистами. *Quod erat demonstrandum!* *

Он отвернулся от своего противника и принялся ходить взад и вперед, напевая сквозь зубы, чтобы показать бесполезность дальнейшего разговора.

— Нет, не буржуа! — выкрикивал ему вслед немало не смущенный Зацепин. — Социализм не для нашего времени, вот что я говорю. Мы должны бороться с деспотизмом и завоевать политическую свободу. Вот и все. А о социализме я забочусь, как о выеденном яйце!

— Извините, Зацепин, — вмешался Андрей, — но это безрассудно. Вся наша нравственная сила заключается в том, что мы социалисты. Отбросьте социализм, и наша сила пропадет.

— А какое будете вы иметь право звать рабочих присоединиться к вам, если вы не социалисты? — вскричала, вскакивая с места, Вулич.

— Э, толкуйте! — протянул Зацепин, презрительно махнув рукой. — Все это одна метафизика.

Метафизикой он называл все то, что не заслуживало по его мнению, ни минуты внимания.

— Наша задача, — продолжал он, покрывая своим громким голосом все остальные голоса, — побороть политический деспотизм, это необходимо прежде всего. Всякий, кто любит Россию, должен к нам присоединиться, а кто не присоединяется, тот изменник народному делу!

При этом он посмотрел в упор на Острогорского, чтобы тот хорошенько заметил, о ком именно идет речь...

Спор продолжался в том же роде, но по мере того, как спорящие уставали, он делался спокойнее. За это время все по нескольку раз переменили свои места.

* Что и требовалось доказать! (лат.) — Ред.

Теперь Зацепин стоял у стола, а Острогорский держал его за пуговицу сюртука.

— Дайте мне сказать два слова, чтобы доказать вам, Зацепин, — говорил он сладким убедительным тоном. — История Европы учит нас, что все великие революции... — И он принялся пространно развивать свой тезис.

Зацепин слушал, слегка нахмутив брови и смотря прямо перед собою; судя по его физиономии, можно было с вероятностью заключить, что семя мудрости Острогорского падало на каменистую почву.

Когда Острогорский ушел, Андрей обрадовался возможности изложить свои взгляды, которые, казалось ему, будут приняты всеми, лишь бы их поняли, так как в его старательно выработанной пред отъездом программе было место для всего и для всех. Зацепин внимательно выслушал его.

— Это никуда не годится! — отрезал он без малейшего колебания, энергично встряхнув головой.

— Почему? — спросил Андрей.

Зацепин медлил ответом. Он думал, приискивая слова, которые ясно передали бы его мысль. Его полемический жар остыл. Андрей был товарищ и намеревался действовать. С ним следовало говорить о сути дела, а не просто препираться. Он вдруг покраснел, и на лице его выразилось негодование.

— Вы предлагаете, чтобы мы шли рука об руку с либералами, — сказал он, мрачно смотря на Андрея. — Но предположите, что они захотят, чтобы мы притихли? Что же, мы согласимся? Боже сохрани! Мы будем бить, колоть и стрелять, а всех трусов пошлем к черту!

При последних словах он так ударил кулаком по столу, что чуть не разбил его.

— Нет, Андрей, — добавил он спокойнее, — ваш эклектизм не годится».

Вот почти все, что мы узнаем о Зацепине, и почти все произнесенные им слова. После этого он исчезает со сцены и появляется на одно мгновение лишь в последней главе, где ничем особенным себя не заявляет. Тем не менее этих немногих строк оказалось достаточно, чтобы обрисовать нам умственный склад Зацепина, отчасти потому, конечно, что это уж очень простой, очень элементарный склад.

Зацепин (он бывший военный), наверное, знал еще в корпусе, что с врагами должно сражаться, а сражаться — значит бить, колоть, стрелять. Сделавшись революционером, он понял, что его враги не турки или немцы, а русское деспотическое правительство. Но понятия о борьбе у него нисколько не расширилось, осталось буквально то же самое, какое было в то время, когда он воображал себе врага в виде турка. Борьба с врагом — значит «бить, колоть, стрелять», — а то что же еще? Все, кроме этого — болтовня или метафизика, не стоящая ни малейшего внимания. Делать дело — значит бить, колоть и стрелять, а кто этого не делает, тот трус или изменник. В споре, поскольку он передан автором, Зацепин мог с полным правом чувствовать себя победителем. Он верит в физическую силу выстрелов, а ему говорят, что без «болтовни» о социализме пропадет какая-то нравственная сила. Зацепин чувствует, что может отлично бить и стрелять, ровно ничего не зная ни о каком социализме. Может он — могут и другие, если только они не трусы и не изменники. Никто из его противников, ни сам наиболее усердный из них, Острогорский, не отрицает возможности победить деспотизм единичными убийствами отдельных личностей, а раз допускается эта возможность — Зацепин прав, и все аргументы его противников попадают мимо цели. В особенности же не может задеть его кажущееся Острогорскому столь победоносным заключение, что Зацепин буржуа. Всякому слишком ясно, что это неправда. Ну какой он буржуа! Его «вера» слишком «узкая» не то что для социалиста, но и для всякого, кому необходимо думать, рассуждать и решать. Она слишком узка даже для офицера, и тот может попасть в такое положение, когда долг заставит его обдумать и решить: следует ли напасть на врага, не обязательно ли, наоборот, в настоящий момент, укрепившись хорошенько, звать подкрепление? Только для простого солдата нужна именно такая узкая вера, как у Зацепина. Тому не полагается ни считать сил, своих или вражеских, ни рассуждать, ни решать. И Зацепин, конечно, не буржуа, а солдат — и хороший солдат. Не его дело размышлять и решать: можно ли с малейшей надеждой на успех дать сражение? Но раз сражение решено, он будет одним из лучших его участников.

Зацепин единственное лицо в романе, взгляд которого на дело очерчен более или менее цельно. Но таких, как Зацепин, было немного в движении, по крайней мере в ту эпоху, к которой относится действие романа. «Это один из немногих оригиналов, — говорит про него Давид, оставшись наедине с Андреем. — У остальных другой пункт помешательства, и их пророком является Георг» (друг Андрея, редактор революционного органа). Зацепин не может, следовательно, служить представителем революционной мысли того времени или, во всяком случае, может служить лишь образчиком минимума идейности в среде революционеров.

Одной из самых удачных, всего живее рисующихся пред воображением читателя личностей романа является сам Давид¹³. Мы узнаем его целиком, с его манерами, с его увлечением своей специальностью, с его умственным складом, узнаем кое-что и о его взглядах.

Но по своим общим взглядам Давид не только «один из немногих», а совершенно исключительная личность. Андрей говорит про него, что он единственный космополит среди революционеров.

Другим из наиболее удачных лиц романа является Василий Вербицкий. Давид — оригинальный характер. Василий — тип, нередко встречавшийся среди нигилистов. Мы не могли бы указать никакой определенной личности, во всем похожей на Василия, и тем не менее нам знакома в нем каждая черта, каждое движение. Мы ничего не знаем об его общих взглядах, но мы чувствуем, что наше незнание происходит не вследствие умалчиваний со стороны автора, а просто потому, что Василий никогда и не принимал участия в разговорах и спорах общего характера. И не только не говорил он об общих вопросах, он ими и не интересовался. Своим товарищам, своей организации, вообще революционному движению он был предан безгранично, но его раз навсегда составленные революционные убеждения состояли из кратких аксиом, не требовавших, по самому характеру его ума, ни дальнейшего развития, ни разъяснения. Этому отсутствию интереса к общим программным вопросам содействовала его безграничная скромность. Отдавая все помыслы и заботы практическим подробностям тех дел, которые ему поручались, он во всем остальном полагался на решение и авторитет това-

рищей, которых ставил неизмеримо выше себя. Люди такого типа обыкновенно лишены инициативы. Чтобы попасть в революционное движение, им необходимо столкнуться с революционерами, привязаться к ним и подпасть под их влияние. Но раз попавши в движение, они остаются верны до конца. По своей доброте, по привязанности, не требующей никакой взаимности, по неспособности ценить свою личность, такие люди, оставаясь в обычной среде, заслуживают обыкновенно название добряков, пожалуй простаков. Кто-нибудь их непременно эксплуатирует, кто-нибудь ими да помыкает. На то и щука в море, чтобы карась не дремал, а люди этого типа слишком удобные караси. В революционной организации, отдаваясь общему делу, подчиняясь людям, не преследующим никаких личных целей, они могут сделаться героями.

Вполне законное при изображении Василия, такое же полное опущение всего, касающегося до отношения личности к общим вопросам революционного движения, кажется нам вопиющим нарушением всякой перспективы при обрисовке Георга, которого Давид называет «пророком» революционной молодежи. С одной стороны, а именно со стороны его отношения (самого рыцарского) к женщинам, Георг обрисован довольно живо и симпатично. Если бы мы могли представить себе, что эта сторона является самой выдающейся в его характере, что его рыцарские увлечения составляют поглощающий интерес его жизни, мы легко дорисовали бы себе остальные черты его характера. Но нам говорят, что это «пророк», умственный руководитель большинства революционеров. Он главный писатель партии, редактор ее органа. Автор сообщает нам, что он блестящим образом ведет теоретические диспуты (но не дает и кусочка такого диспута). Все это не позволяет уже нам живо представить себе Георга даже и с той стороны, которая обрисована, и делает всю его фигуру неясной и какой-то однобокой.

Главный герой романа, Кожухов, постоянно остающийся на сцене, тогда как другие то появляются, то исчезают, говорит в общей сложности больше кого бы то ни было из других действующих лиц. Но то, что мы слышим из его речей, в большинстве случаев, не соответствует тому, что автор говорит от себя о своем герое,

которому он приписывает трезвый ум, отсутствие слишком живого воображения, положительность и хладнокровие. Между тем из разговоров самого героя, когда автор дает ему слово по сколько-нибудь общему вопросу, мы могли бы вывести скорее обратное заключение, — что это человек, живущий исключительно чувством, с таким преобладанием воображения над рассудком, что образы и сравнения играют выдающуюся роль в его аргументации, заменяют для него резоны и основания. Но можно сделать и другое предположение. Два спора, отчасти общего характера, в которых автор дает поговорить своему герою (нам придется еще вернуться к одному из этих споров), велись при таких обстоятельствах, когда Кожухову было совершенно естественно не хотеть серьезно спорить и стараться лишь о том, чтобы отделаться от своего собеседника. Они приведены, очевидно, больше для характеристики не его, а этих собеседников, и их они действительно характеризуют до некоторой степени, но в то же время скорее затемняют, чем выясняют личность самого героя. Его разговор с женой о царубийстве тоже ведется в слишком исключительном положении и настроении, чтобы характеризовать что-нибудь, кроме именно этого положения и настроения.

Автор не сообщает нам размышлений, суждений Кожухова даже по вопросу о царубийстве, сыгравшему такую роковую роль в судьбе героя. Он и тут знакомит нас лишь с его чувствами. Но в данном случае мы легко могли бы удовольствоваться представлением о неодолимой жажде мести и самопожертвования, зародившейся в душе Андрея под впечатлением казни друзей. Эти чувства достаточно мотивировали бы для нас его решение. Но автор не позволяет читателю остановиться на таком представлении. Он уверяет нас, что Андрей строго и беспристрастно обсудил вопрос о пользе и своевременности царубийства для освобождения страны. А сам герой говорит, что жизнь дороже ему, дороже, чем когда-либо, и лишь долг перед страной, перед народом, заставляет его идти на царя. Все это возбуждает в читателе желание узнать: каких именно результатов для страны, для народа ждет Андрей от царубийства? Но вопрос остается без ответа. Андрею нельзя приписать того простого, зацепинского

представления, по которому всякое убийство во вражьем лагере несомненно полезно, потому что это борьба, а борьба ведет к победе. Он убедился уже в полнейшем бессилии террора, направленного на генералов и чиновников. «Сколько бы их ни перебили, — думает он, — гнусное здание деспотизма от этого не пошатнется. На каждый удар правительство всегда может ответить десятью, и революция выродится в мелкую борьбу между полицией и конспираторами». Он, очевидно, не ждет падения гнусного здания и от убийства царя, так как уверен, что за этим убийством последуют казни, много казней, следовательно, борьба будет продолжаться. Чем же будет она, как не борьбой между полицией и конспираторами? Читатель остается в недоумении, и это недоумение вредит до некоторой степени даже полноте впечатления трагической развязки, какую является покушение на царя в личной судьбе Андрея и Тани. Мы не чувствуем роковой, безусловной необходимости для Андрея его решения. У нас остается смутное ощущение произвола с его стороны, представление о том, что он мог бы, пожалуй, и не ходить, мог бы и уступить Тане...

IV

Мы отметили уже все стороны романа, показавшиеся нам слабыми, но не говорили еще достаточно о его главнейшем достоинстве. Если автору и не вполне удалась некоторые из его действующих лиц, зато в романе ярко отпечатлелось нечто более важное и интересное, чем типы и характеры отдельных личностей. В нем есть такой коллективный герой, ни одной черты которого не было еще отмечено в русской литературе. Это тот революционный дух, различными проявлениями которого проникнуто все содержание романа.

В чем заключается суть этого духа? По нашему мнению, не в чем ином, как в жажде деятельности для осуществления общих целей, вытекающих из усвоенных человеком воззрений, — в Thatlust, как говорят немцы.

Мы не скажем, разумеется, вместе с Зацепиным, что революционером может считаться лишь тот, кто идет бить и стрелять. Во время восстания, в моменты мас-

совой, открытой борьбы с правительством, место каждого революционера, конечно, на улице, впереди толпы и с оружием в руках. Только Россия еще не пережила таких моментов.

Но уж во всяком случае, не имеет права считать себя революционером человек, прекрасно усвоивший самые верные и самые революционные взгляды, отлично понимающий, какого рода деятельность необходима в данный момент, но считающий лично для себя всякую деятельность невозможной или откладывающей ее в неопределенное будущее. У кого при мысли о деятельности тотчас же вырастают пред глазами тысячи неодолимых препятствий, невозможностей и затруднений, тот еще не революционер, а мирный обыватель, как бы революционны ни были его взгляды. Нет человека, который не мог бы *ничего* сделать при действительном горячем желании действовать. Раз всякие личные и частные обстоятельства мешают человеку делать хоть что-нибудь для общих целей, в нем нет еще серьезной потребности действовать, нет того революционного духа, малейшей искры которого достаточно, чтобы уничтожить все личные препятствия к деятельности.

В романе Степняка мы на каждом шагу встречаемся с этой жадной деятельностью, выражающейся как в самых скромных, невидных и неслышных, так и в самых ярких и громких фактах. Революционный дух живет, несомненно, в сестрах Дудоровых, отдавших на дело все свое имущество до последней копейки и отправляющихся с целью пропаганды в деревню в качестве сельских учительниц. Под влиянием этого духа поступил студент, к которому по ошибке вошли жандармы, имевшие приказ арестовать жившего этажом выше нелегального революционера. Догадавшись, в чем дело, студент постарался поддержать ошибку жандармов и пожертвовал свободой (у него нашли рукопись революционного содержания) ради спасения человека, которого считал полезнее себя, хотя и чувствовал к нему личную антипатию. Этот дух двигал десятками молодых революционеров, решившихся освободить нечаянным нападением приговоренных к смерти, и он же побудил рабочих отдать свои паспорта, чтобы облегчить бегство разыскиваемых революционеров. С начала и до конца роман переполнен этими все более и более интенсивными про-

явлениями революционного духа, заканчивающимися покушением на жизнь царя. Но он все же не захватывает всей области проявлений этого духа. В нем не затронуты первые, самые элементарные шаги, говорящие о пробуждении жажды дела в молодежи, находящейся, так сказать, еще в подготовительном классе революции.

С чего начинали в былые времена молодые нигилисты, будущие революционеры, усвоившие так или иначе, в одиночку или в кружках самообразования революционные взгляды и симпатии? С того, что отдавали на дело какому-нибудь товарищу, уже вступившему в сношения с революционерами, свои маленькие гроши, даже не зная точно и не считая себя вправе узнавать, на что именно они будут употреблены; с того, что бегали на посылках у своих более близких к действующим кружкам товарищей — «служили революции ногами», как выражалась одна моя молоденькая приятельница, бегавшая верст по десяти в сутки по разным поручениям, которые непременно показались бы каждому благомыслящему юноше, предназначенному судьбою в благополучные россияне, слишком мелкими для его особы. И редкие, очень редкие из прославившихся впоследствии видных деятелей, не начинали своей революционной карьеры именно с такой очень мелкой деятельности. Тот, кто считал себя выше ее, кто, отказываясь от мелочей, готовил себя, как ему казалось, к будущим крупным делам, в громадном большинстве случаев никогда не доходил — ни до каких, кроме личных, — ни до крупных, ни до мелких дел. Кто не способен на мелкие жертвы, едва ли будет когда-либо способен на крупные. Впрочем, ни в мелком, ни в крупном: *жертва, самопожертвование* — слова, в сущности, не соответствующие действиям революционеров. И в маленьком и в большом то, что могло казаться жертвой для спокойных и мирных обывателей, для них составляло наслаждение. Не жертву приносил молоденький студент или девушка, отдавшая на дело те деньги, которые раньше употребляла на лучший обед, на театр, на лишнее платье, а обменивали эти обеды и платье на бесконечно большее наслаждение чувствовать, что сделал нечто, хотя и очень, очень маленькое, для того великого и общего, которому еще не умеет, но стремится отдать

все свои силы будущий революционер. Жажда деятельности, получавшая все большее и большее удовлетворение по мере того, как юноша приобретал больше умения и опытности, делала революционеров счастливейшими людьми в России, как ни казалось ужасных их положение людям, смотревшим со стороны. Прямо из жизни выхвачена сцена в романе Степняка, где несколько нелегальных революционеров, собравшихся у либерального адвоката, не могут удержаться от веселого хохота, когда хозяин начинает изображать со-страдательным тоном их печальную судьбу.

В момент, изображенный в романе, революционное настроение молодой русской интеллигенции вторично достигло, после небольшого перерыва в 74 году, высшего предела, какой только возможен для подобного движения. Ни по интенсивности революционного настроения, ни по разливу его среди молодежи, ничтожный по численности слой, высылавший революционные силы, не мог дать ничего большего. И, в противоположность движению 73-го года, на этот раз неопытной молодежью руководила сильная организация испытанных нелегальных конспираторов.

Куда же девалась эта сила? Отчего так быстро оправившееся после массового погрома 74-го года и вынесшее из этого погрома бесценное приобретение *нелегальных* организаций революционное движение с каждым годом все полнее и полнее утрачивает на этот раз самое воспоминание о таких организациях, в которых только и заключалась вся его практическая, конспиративная сила? Отчего исчезает среди русской образованной молодежи самая жажда дела — тот революционный дух, естественным концом которого мог бы быть лишь разлив его в рабочей массе и победа над самодержавием?

V

«От поражения к поражению оно (дело, за которое умер герой) идет вперед к окончательной победе, которая в этом печальном мире не может быть приобретена иначе, как страданиями и жертвами немногих избранных». Таково размышление, которым заканчивается роман, — очень парадоксальное размышление

или недосказанное. Ни поражения, ни гибель избранных сами по себе еще не ведут к победе. От переживших зависит, чтобы эти поражения и эта гибель не остались бесплодными, а послужили для них полезным уроком, научили избегать прежних ошибок и бороться успешнее.

Из самого содержания романа Степняка видна вся неизбежность общего поражения революционного движения, даже при целом ряде удач во всех частных предприятиях, именно вследствие «избранности», изолированности революционеров и полной невозможности дальнейшего роста сил на том пути, на который вступали они в изображенный им момент.

Герой романа приехал из-за границы с намерением идти рука об руку с либералами, и вот что говорил ему пред концом его жизни один из лучших людей этого рода, либеральный адвокат Репин (отец Тани), находившийся в прекрасных личных отношениях с некоторыми из нелегальных революционеров и не раз оказывавший им услуги.

Недовольный отказом Андрея уехать на время с женой за границу, Репин дает волю своему недовольству террором вообще:

«Он говорил о бесплодности их усилий, о безрассудности вызовов правительству, усиливающих деспотизм, против которого они направлены, о том, что революционеры делают совершенно невыносимой жизнь всей образованной России, которая, утверждал Репин, тоже имеет право на существование.

Вначале Андрей защищался полшутя. Он привык к нападкам Репина, но предмет разговора был слишком близок, чтобы не волновать его, и последнее обвинение его взорвало.

— Я знаю, — сказал он, — что ваша образованная, либеральная Россия очень заботится о своем праве на существование, а также и о своем комфорте. Было бы гораздо лучше для страны, если бы она поменьше об этом заботилась.

— Так вы бы хотели, чтобы мы все вышли на улицу и начали бросать бомбы всем проходящим полицейским? — спросил иронически Репин.

— Что за бессмыслица! — горячился Андрей. — Вам нет надобности бросать бомбы; боритесь своим собствен-

ным оружием. Но боритесь же, если вы люди. Будем бороться сообща. Мы будем тогда достаточно сильны, чтобы низвергнуть деспотизм. Но пока вы ползаете и хныкаете, вы не имеете права упрекать нас за то, что мы не лижем бьющей нас руки. Если в своем слепом бешенстве правительство распространяет и на вас преследования, можете разодрать свои одежды и посыпать головы пеплом, но помните, что вам достается по заслугам. Нечего жаловаться, это и недостойно и совершенно бесполезно, хотя бы вы охрипли от проклятий, упреков и жалоб, мы не обратим на них ни малейшего внимания.

— Кто говорит об упреках? — сказал Репин, нетерпеливо махнув рукой. — Лично вы, быть может, и правы, теряя рассудок вследствие исключительных преследований. Но это могло бы служить оправданием для отдельного преступника пред судом присяжных, а не для политической партии пред общественным мнением. Если вы хотите служить своей стране, вы должны уметь сдерживать свои страстные порывы, если они не могут привести ни к чему, кроме поражений и бедствий.

— Поражений и бедствий! — воскликнул Андрей. — Уверены ли вы в этом? От копейной свечи Москва сгорела, а мы бросили в сердце матушки России целую головню. Никто не может предвидеть будущего или быть ответственным за то, что в нем скрывается. Мы делаем, что можем, в настоящем; мы показали пример мужественной борьбы, который никогда не пропадает для поработенной страны. Мы возвратили русским самоуважение, спасли честь русского имени, которое перестало быть синонимом раба.

— Тем, что показали отсутствие в русских способности к чему бы то ни было, кроме таких жалких нападений на отдельные личности? Этим, что ли?

— А кто виноват? — отпарировал Андрей, раздраженный тоном Репина. — Никак не мы, а либеральная Россия, которая держится в стороне от борьбы за свободу, тогда как мы, ее дети, боремя и погибаем тысячами.

Андрей не относил своих слов лично к Репину, который составлял исключение из общего правила. Но по той или другой причине Репин живо почувствовал упрек.

— Допустим, что это так, — сказал он уже другим тоном. — Мы, так называемое общество, все трусы. Но так как вам нас не переделать, вы должны признать это за существующий факт. Тем более для вас причин не разбивать головы о стену.

— Наше положение не так безнадежно, — отвечал смягчившийся Андрей. — Мы рассчитываем не на одно общество и надеемся, что оно тоже исправится со временем, когда в него волеется новая кровь».

Надо признаться, что если Андрей и недурно нападает на либерала, то отражает его нападения как нельзя хуже. Невозможно, однако, ставить это ему в вину. Разговор происходит за несколько дней до покушения. При таких обстоятельствах совершенно естественно отделиться туманными фразами от человека, с которым нельзя пускаться в откровенности.

В разговоре с женой он, конечно, совершенно откровенен. Но хотя автор и говорит нам, что Андрей сообщил Тане все основания своего решения и даже повлиял на ее ум, но приводит он относительно цареубийства лишь следующие строки из их разговора: «Что выиграла бы страна, — спрашивает Андрей, — если бы мы не отвечали ударами на удары и продолжали учить и проповедовать по закоулкам, как предлагает Лена? (горячая сторонница пропаганды). Они, правда, не вешали бы нас. Но какая была бы из этого польза? Нас арестовывали бы, ссылали в Сибирь, оставляли бы гнить по тюрьмам и этим так же точно прерывали бы нашу работу на пользу народа, как и теперь. Нам не дадут свободы в награду за хорошее поведение. Мы должны бороться за нее тем оружием, какое имеем. Раз нам приходится страдать, то чем больше, тем лучше. Наши страдания будут для нас новым оружием. Пусть они вешают, расстреливают, убивают нас в своих подземных казематах! Чем жесточе будут поступать с нами, тем больше будет у нас последователей. Я желал бы заставить их разорвать меня на части или сжечь живого на медленном огне среди площади».

Это, конечно, не результат беспристрастного размышления, а скорее выражение той жажды мученичества, которая охватила Андрея в момент безмолвного прощанья с идущими на казнь друзьями. Но, не зная его размышлений, мы все же имеем право вывести, как из

этих слов, так и из его разговора с Репиным, то заключение, что пользу террористических фактов, цареубийства в особенности, он видит в примере борьбы, в впечатлении на публику, как самих фактов, так и казней революционеров.

Но на кого могли действовать эти примеры и впечатления?

Уж, конечно, не на либералов, хотя бы и самых лучших. С политической стороны, либералы радовались убийствам разных ненавистных «столпов отечества», пока не чуяли реакции со стороны правительства. При реакции — огорчались. Со стороны эстетической, как люди с развитым вкусом, понимающие «прекрасное», где бы и в чем бы оно ни проявлялось, они могли любоваться энергией революционеров, могли, как Репин, чувствовать уважение и симпатию к их личностям. Но и только. Они, во всяком случае, самые безнадежные. Все они знают, обо всем слышали и все пережили в своем представлении; их уже не переделаешь никакими примерами и никакими страданиями. Этого не мог не чувствовать знавший их Андрей. Неизвестно, что подразумевал он под «вливанием» в них «новой крови», но при той крови, какая имела, самые разительные примеры и самые лютые казни могли вызывать в либералах лишь самый лютый страх и горячее желание запрятаться как можно подальше.

На кого же рассчитывал Андрей подействовать своим примером и своими страданиями?

Очевидно, не на ту толпу, которая, «упившись вполне и лихорадочной дрожью ожидания, и замиранием ужаса, и тем оцепенелым недоумением и грустью, которые наступают после подобных зрелищ...», возвращалась с казни революционеров с тем равнодушным видом, который заставил Андрея спросить себя: сколько в толпе людей, «которые вынесли из зрелища только лучший аппетит к ожидающему их обеду»? Не мог же он предполагать, что причина равнодушия толпы заключается в недостаточной мучительности казни. Он слышал разговоры этой толпы, доказывавшие ее полнейшее незнание, в чем тут дело.

Господа с господами ссорятся... Казнят колдунов, которые умеют в котлов оборачиваться... Что, кроме любопытства, могла вызвать в толпе казнь людей, до такой

степени ей неведомых, хотя бы, сама по себе, эта толпа и была способна к горячему сочувствию людям, преследуемым за известное и понятное ей дело?

По всему вероятно, с мыслями о мужественном примере, никогда не пропадающем для поработанной страны, о страданиях революционеров, увеличивающих число их последователей, у Андрея связывалось чисто отвлеченное представление о силе примера и страдания. Быть может, во время его горячей защиты перед Таней своего решения у него мелькнуло воспоминание о фанатизме, вызываемом религиозными преследованиями, о казнях христианских мучеников, так сильно содействовавших распространению христианства. Но он не подумал при этом, что в толпе, смотревшей на те казни, были рассыпаны многочисленные проповедники и исповедники, говорившие ей о той вере, за которую казнили мучеников. Там же, где христианство еще недостаточно распространилось и проповедников было мало, казни христиан производили на толпу того времени точно такое же действие и так же нравились ей, как и гладиаторские бои.

Пример террористических подвигов мог действовать лишь на людей, уже проникнутых революционным духом: все на ту же и без того возбужденную революционную молодежь да на немногих рабочих, уже успевших сделаться революционерами. Но борьба не в рядах и строю, не рука об руку с товарищами, а убийства в одиночку не могут привлечь много сил, какую бы ни пользовались они популярностью. Это слишком мрачный род борьбы. Какой бы восторг ни возбуждал он со стороны, — чтобы пойти самому на такое убийство, нужно обладать исключительной силой воли, или находиться в исключительном настроении: в припадке болезненного славолюбия Гольденберга¹⁴ или в таком состоянии, когда жизнь потеряла для человека всякую привлекательность, но он предпочитает отделаться от нее не без пользы для партии. И в самом деле, за все время популярности таких одиночных нападений охотников до них нашлось не более десятка.

Что же касается до различных приготовлений к царскому убийству: динамитных мастерских, подкопов и пр., то эти дела требовали такой ловкости, умения и выдержки,

что ими почти исключительно занималась одна и та же небольшая группа старых (не по годам, конечно, а по революционной опытности) конспираторов.

В остальной массе революционеров политические убийства возбуждали не подражание, а лишь страстные, но неосуществимые мечты и восторги. Но в то же время пред блеском террористических подвигов тускнели в ее глазах все другие отрасли революционной деятельности, все, кроме террора, теряло постепенно всякую привлекательность, переставало считаться революционным. Таким образом, самую силу производимого впечатления террор еще более суживал и без того узкий поток революционного движения, самую интенсивность проявлений борьбы подкапывал почву под дальнейшим развитием этой борьбы.

А между тем из того же романа Степняка видно, что у революционного течения были уже, хотя еще и слабые, шансы выбиться на широкий простор, найти неисчерпаемый источник новой силы.

«Вокруг здания суда, — рассказывает нам автор, — в день произнесения приговора над казненными потом революционерами собиралась толпа. Полицейские разгоняли ее, но она снова собиралась и все увеличивалась. Вечером, после закрытия фабрик, к ней присоединились рабочие. Усталые полицейские уже не были в состоянии разгонять народ и предоставили наконец толпу самой себе. Тут собрались самые беспокойные элементы населения, а передний ряд был почти сплошь занят нигилистами.

— Всем смертная казнь, — закричали этой толпе из залы суда.

В ответ послышался угрожающий рев... Полицейский офицер, охранявший здание снаружи, вбежал в залу и бросился к председателю. Последний отдал приказ двинуть войска и разогнать толпу во что бы то ни стало. Кровавое столкновение казалось неизбежным. Но его не случилось. Самые крайние элементы — организованные революционеры — не желали вооруженного столкновения, которое могло только помешать успеху их более серьезной попытки отбить приговоренных нечаянным нападением.

Манifestация произошла сама собой и была сделана, главным образом, посторонними людьми под впе-

чатлением минуты. Это было хорошо, но не надо было заходить далеко».

Революционеры сдержали толпу, и столкновение не произошло.

Мы не знаем точь-в-точь такого случая в действительности. Беспорядки около здания суда произошли в Одессе в июле 1878 года, при произнесении смертного приговора над Ковальским¹⁵. Но при этих беспорядках не было, да и быть не могло, по настроению того момента, сдерживающего влияния со стороны революционеров. Тем не менее автор вовсе не погрешил против духа истины своим рассказом. Летом 1878 года террор был еще в зародыше, а в непосредственно предшествовавшее ему время демонстрации пользовались значительной популярностью среди революционеров. Но по мере того, как политические убийства и вообще чисто конспиративная, изолированная деятельность начала сосредоточивать на себе все симпатии революционеров, когда они постепенно уверовали в свою отдельную от народа и от всякой толпы материальную, военную силу и, будучи по природе своей дрожжами, вообразили себя опарой, такое предпочтение лишнего шанса для своего конспиративного предприятия движению толпы на их защиту стало вполне возможным.

В сущности же, самое ничтожное движение уличной толпы за революционеров гораздо террористичнее, страшнее для правительства — для системы, если не для отдельных личностей — всякого политического убийства. Убитые рядовые, уличные люди страшнее казненных революционеров, хотя первые могли бы быть самыми пустыми людьми, а революционеры представлять каждый в отдельности значительную силу по своим личным качествам. Они страшнее потому, что раз они появились, их возможного завтра же числа не выдаст никакой Гольденберг, не выследит и не вычислит никакой Судейкин¹⁶. Они страшнее потому, что с ними против правительства встает нечто неведомое и могущее расти до бесконечности. Рядовые улицы, погибшие в кровавом столкновении с казаками, были бы гораздо понятнее и большей, бессмысленной, по изображению автора, толпе, смотревшей на казнь. Улица, участвовавшая в столкновении, объяснила бы ей их значение. Нашлись бы рас-

сказчики, за которыми не уследишь, которым не завяжешь рта именно по их неизвестности и незначительности.

Другим еще более важным шансом для революционного движения приобрести такую широкую основу, при которой его уже не могли бы уничтожить никакие преследования правительства, было развитие рабочего дела в Петербурге.

В романе эта сторона движения остается на самом заднем плане. Ни один рабочий не появляется на сцене — о них только говорится. Даже на собрании кружка, специально обсуждающего рабочее дело, не присутствует ни один рабочий. Вообще, насколько упоминается о рабочих, они являются лишь пассивным объектом воздействия пропагандистов. На самом деле в эпоху, изображенную в романе, то есть в первое время террора, рабочее движение в Петербурге было гораздо самостоятельнее и уже выставило немало выдающихся людей, никак не уступавших лучшим революционерам из высших классов.

Но даже и из того, что говорится в романе, все-таки оказывается, что от революционеров ничего не требовалось, кроме желания и настойчивости, для того, чтобы росло и развивалось движение в рабочей среде. В романе несколько раз упоминается о пропаганде и всегда оказывается, что она идет очень успешно, сообщается о рабочих центрах в различных концах Петербурга, говорится об образовании нескольких новых многообещающих рабочих кружков и ни разу не слышно об арестах на этом деле.

Не фактическое положение дела, не невозможность или хотя бы трудность сношений с рабочими, а одно увлечение планом царубийства заставляет Андрея спрашивать: «Что выиграла бы страна, если бы революционеры продолжали учить и проповедовать по закоулкам?» Пред интенсивностью впечатления террористической борьбы эта проповедь начала казаться революционерам «хорошим», в дурном смысле этого слова, то есть не революционным «поведением». А страстные борцы стремились к самому лучшему, к самому революционному поведению. Все революционное олицетворилось наконец для них в одном царубийстве. И после двух-

летних гигантских усилий они добились намеченной цели. Царь был убит. Но дальше в избранном направлении идти было некуда, делать нечего, и движение быстро пошло под гору. Погибли сильные люди, воспитавшиеся на ином деле, ошибавшиеся относительно общих результатов своей террористической деятельности, но способные добиваться ближайших намеченных целей, умевшие действовать. Осталась лишь та окружавшая их среда, которой восторг пред террором не позволял делать с увлечением ничего другого, но которая к террору-то именно и была совершенно неспособна.

На этот раз, в противоположность погрому 1874 года, с арестом действовавших революционеров исчезла самая возможность возобновления сильного движения. У оставшейся молодежи не было в виду никакого привлекательного дела, никакой сколько-нибудь выполнимой программы, никаких цельных воззрений — ничего, кроме мечты о подражании террористам. Но мечта не может поддерживать организаций, на ней не могут выработываться практические деятели. В этом отношении самое незаметное дело бесконечно важнее самой грандиозной мечты. И организации постепенно расстроились, деятелей появлялось все меньше и меньше. У бывших богатырей осталось много поклонников, но не нашлось последователей, так как повторять их слова или даже пытаться подражать тем действиям, которыми они закончили свою революционную карьеру, еще не значит быть их последователями.

Степняк рисует нам движение в момент полного развития его силы. Хотя он не делает никаких выводов, кроме приведенных нами выше заключительных слов, но все содержание романа, отношение к действующим лицам, самый тон рассказа убеждает нас в том, что автор стоит на точке зрения своих героев-террористов; что он всей душой на стороне вступления в прямую материальную борьбу с правительством крошечной группы «избранных» конспираторов; что он сам вместе с героем готов признать «хорошим», недостаточно революционным «поведением» продолжение работы над вовлечением в борьбу народных масс. Тем сильнее действует остающееся романом общее впечатление полной, роковой безнадежности борьбы, в которую вступает выведенная в нем горсть революционеров, одиноко стоящих между

не знающим их народом, дрожащим от страха обществом и освирепевшим правительством. Тем настойчивее напрашивается вывод, что в этом, если и «печальном», то во всяком случае единственном из миров, в котором нам волей-неволей приходится и жить и действовать, победа достается лишь силе, а сила революционного движения не может заключаться ни в чем ином, как в его распространении на народную массу, и «гибель немногих избранных» приближает победу лишь в том случае, если возбуждает злобу и жажду мести и оставляет по себе память не в сердцах лишь нескольких товарищей, а в сердцах все большей и большей части народной массы.

Русским людям необходимо выйти из круга идей, дозволивших им забыть совершенно азбучную для каждого европейца истину, что без рабочей массы немыслима никакая революция; необходимо убедиться раз навсегда, что всякое революционное движение, не направляющее всех усилий на то, чтобы распространиться в народной массе, является ненормальным, заранее осужденным на гибель движением.

Но это не может и не должно уменьшить любви и уважения к памяти людей, деятельностью которых закончился предыдущий период движения. На них не может пасть и тени упрека. Практики и борцы, они стояли на высоте русской мысли своего времени, а это все, чего можно требовать от практических деятелей. Они понимали положение вещей ничуть не хуже своих интеллигентнейших соотечественников, проповедовавших как революционные, так и оппозиционные теории. Они вполне, безукоризненно правы. Их деятельность не привела к тем результатам, которых они ожидали. Но они хотели и умели, несмотря на все препятствия, действовать сообразно со своими убеждениями и отдавали на дело все свои силы, все помыслы и самую жизнь, а такие люди, каковы бы ни были их ошибки, бесконечно, вне всякого сравнения, выше благоразумных мудрецов, которые вполне гарантированы от самонаименованной ошибки в своей политической деятельности тем именно, что ровно ничего не делают.

Главная заслуга романа Степняка заключается именно в том, что он восстанавливает пред читателями

все реже и реже встречающиеся в русской жизни типы прежних нелегальных революционеров.

Теперь нельзя уже повторять слова этих революционеров в том самом смысле, в каком говорили их они, — жизнь уничтожила этот смысл. Нельзя походить на них, стремясь подражать их отдельным действиям, уже хотя бы по тому одному, что они-то ведь никому не подражали, а самостоятельно прокладывали свой путь. Но, с другой стороны, нельзя и стать серьезным революционером, нельзя действовать при русских условиях, если дорожить хоть чем-нибудь: своей легальностью, своим будущим, семейными привязанностями, — чем бы то ни было, кроме удобств для деятельности. Нельзя, словом, действовать, не относясь к делу так же точно, как относились к нему прежние революционные деятели. С этой стороны они останутся образцами для подражания, пока Россия будет нуждаться в таких революционерах, а она будет нуждаться в них до той поры, когда разлив революционного движения в рабочей массе обеспечит победу.

До сих пор у прежних борцов было мало последователей. Но они еще явятся. России не миновать революционного движения против деспотизма, и начнется ли оно прямо в рабочей среде, а недовольная современным режимом часть высших классов лишь воспользуется им в решительный момент, или молодежи этих классов еще суждено сыграть революционную роль, — во всяком случае, успешно действовать в первом периоде этого нового движения будут в состоянии только люди, так же всецело отдавшиеся своему делу, как отдавались ему прежние революционеры. И только такие люди, которые сумеют, как умели они, действительно делать свое дело, как бы ни были велики препятствия, будут вправе считать себя их настоящими преемниками и продолжателями. Они будут верны их духу, как бы ни отличались новые взгляды и новая деятельность от того, что говорилось и делалось тогда. И раз пойдет успешно эта новая деятельность, раз движение пустит корни в рабочей массе, она узнает и о прежних деятелях. Их гибель, их страдания еще принесут свои плоды. В решительный момент они припомнятся старому режиму.

«ШТУНДИСТ ПАВЕЛ РУДЕНКО»

Издательница этого романа, г-жа Степняк¹, сообщает нам в своем предисловии те обстоятельства, при которых он возник. Степняк взялся доставить одной английской писательнице исторические и бытовые данные для произведения, имеющего своим сюжетом жизнь русских сектантов. «Однако же когда он засел за работу, то скоро почувствовал, что не в состоянии ограничиться сухим изложением фактов и исторических данных, как-то само собою «материал» вылился у него в форму стройного рассказа с определенной фабулой, характерами и бытовыми сценами».

Из самого рассказа видно, чем именно увлек Степняка этот материал, состоявший, конечно, главным образом из результатов расследований и преследований разного рода «оказательств» распространения новой ереси. Он встретился тут с знакомым ему явлением нравственного подъема, охватывающего целые группы людей, вызывая в них потребность деятельности, «оказательства», чего бы это ни стоило, и горячее братство преследуемых за то, что они считают самым высшим, лучшим, должным.

Тот же массовый подъем душевного строя, но в другой среде и с совершенно иным идейным содержанием, составляет существенную особенность также первого и, пожалуй, единственного значительного беллетристического произведения Степняка — его романа «Андрей Кожухов». Степняк мог бы и про себя сказать известную фразу «*Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre*»*.

Он не только невелик, он плохо отшлифован, недоделан, и все-таки в нем есть кое-что, чего вы не найдете ни у кого другого. Его первый роман — это картина, в которой замечательно только выражение лиц изображенной на ней группы людей; выражение, у одних проявляющееся сильнее, у других слабее, но, очевидно, вызванное одной общей причиной, действующей на всех. Только это и замечательно в картине, но без этого та же группа, изображенная другими живописцами, оставалась непонятной, нелепой, а за ее изображения бра-

* Мой стакан невелик, но я пью из моего стакана (франц.). — *Ред.*

лись, между прочим, наши величайшие мастера, но и у них, несмотря на все совершенство второстепенных деталей и посторонних лиц, центральная группа оставалась невероятной, карикатурной, иногда неумышленно (во всяком случае, в «Нови» Тургенева) карикатурной. О многочисленных карикатурах (подчас тоже не умышленных: «Знамение времени»², например) трестепенных писателей и говорить нечего. Чтобы стать естественным и понятным, изображению недоставало именно того, что смог показать один Степняк. Чтобы придать хотя бы только внешнее, механическое, так сказать, вероподобие своим произведениям, всем приходилось рисовать исключительные или обманутые существа.

Герои Степняка обыкновенные люди, их героизм — их преступность с административной точки зрения — вытекали не из их личных, необычайных, исключительных свойств, а из общего подъема, охватившего целый слой населения в его молодых представителях. В революционерах этот подъем только выразился с наибольшей интенсивностью и устойчивостью, они были гребнем общественной волны, которая поднималась все выше благодаря их же сознательным усилиям, но в то же время создала и их самих и их усилия, превратила в бесстрашных борцов хороших людей, которым, во время общественного отлива, предстояло бы, при русских условиях, пропасть одним из тех прозаических, медленных и тоскливых способов, которые так обстоятельно и подчас художественно изображены в бесчисленных произведениях русской беллетристики.

Вот этот-то массовый, независимый как от исключительных свойств отдельных личностей, так и от чего бы то ни было случайного или искусственного, характер революционного движения отразился, как нам кажется, в романе Степняка и, наверное, не отразился ни в одном из беллетристических произведений на ту же тему. Быть может, эту одностороннюю силу таланту Степняка дало то самое обстоятельство, которое помешало его развитию. Революционер Степняк долго и сильно переживал сам тот душевный подъем, который выразился в его романе; но если «служение муз не терпит суесть»³, то еще нетерпимее, быть может, относятся музы к про-

должительному и сильному сосредоточению душевной энергии своего служителя на чем бы то ни было вне этого служения, а Степняку «борьба мешала быть поэтом», и он никогда не допускал, чтобы «песни мешали» ему «быть борцом»⁴. Орудия же борьбы он в беллетристике никогда не видел, работа над ней была для него наслаждением, но когда нужно было изобличать, разъяснять, доказывать, он писал статьи.

В посмертном романе Степняка, заглавие которого мы выписали, революционер является лишь эпизодически, главные же действующие лица — крестьяне-штундисты.

Трудно теперь где бы то ни было пострадать за проповедь евангелия, но в России еще можно принять за нее даже мученическую смерть; не на костре, правда, а просто в остроге, от побоев сторожей, или от продолжительного пребывания в тюремном карцере за упорство. Не «ревность о госпде», конечно, тому причиной. Едва ли когда бывало на свете духовенство, более формально относящееся к религии, более равнодушное ко всему на свете, кроме собственного хозяйства, чем православные батюшки. Сектанство может беспокоить их единственно с точки зрения уменьшения доходов. Но при нашем общем беззаконии и несправедливости устроить гонение слишком легко, чтобы этой легкостью не соблазнялись люди, которым гонение выгодно. А с другой стороны, всякое движение, одушевление, объединение, хотя бы и под знаменем евангелия, действительно вредно для нашего государственного строя, держащегося разъединением обывателей, их апатией ко всему не чисто личному.

Роман рисует первое гонение, выдержанное небольшой штундистской общиной, недавно образовавшейся среди православного населения. Живо обрисовано пробуждение чувства и мысли крестьян при переходе от формального, казенного христианства к евангелию, с которым они впервые знакомятся, лишь становясь врагами поповского, обрядового православия.

Чувствуется местами, что роман не доделан, что, если бы автор сам готовил его к печати, он кое-что выбросил бы, кое-что развил. Но то, что составляет главный мотив произведения, что увлекало в нем самого автора, заражает и чувство читателя. В особенности

удачно обрисована личность первого распространителя секты, нехозяйственного мужика Лукьяна, у которого в обыкновенных делах слишком много «простоты» и не хватает ловкости, но есть дар «ловца людей», дар убедительной, полной чувства речи, обращающей их в его веру. Его героизм на следствии и его мученичество глубоко трогательны именно по своей безграничной простоте и беспритязательности. Мы указывали рядом с достоинствами романов Степняка и на их несовершенство в художественном отношении. Но меркой для сравнения мы брали при этом те истинно художественные произведения, которых не так уж много на свете. Берясь же за другую мерку, мы скажем, что русские журналы переполнены несравненно слабейшими беллетристическими произведениями, которые забываются тотчас по прочтении, не заражая читателя никаким чувством, никаким настроением, потому именно, что в них не вложено ничего подобного. Этого с читателем романов Степняка случиться не может. А впрочем, смотря по читателю! Это чтение не для сонных, довольных людей — ничего они в нем не поймут; не для эстетов, не для поклонников «злой красоты» и вычурных героев Минского⁵ или Гиппиус⁶, — красота героев Степняка для них слишком проста и «добра». Не таких читателей желали бы мы романам Степняка.

Теперь, когда Россия снова переживает общественный подъем, захвативший более глубокий и широкий слой, чем предыдущий, в котором участвовал Степняк, мы желали бы его романам, — как «Андрею Кожухову», слишком мало проникшему в России, так и «Штундисту» — побольше читателей именно из этого нового слоя. Рабочие, «на психологию» которых «указывает» автор письма, помещенного в № 8 «Рабочей мысли»⁷, «зачитывавшие до дыр» «Подпольную Россию» Степняка, «жившие вместе с ее героями, забывая всякие опасности и трудности настоящего», с наслаждением прочтут и эти романы. Ни террористами, ни штундистами они от них не сделаются, но переживут вместе с их героями зарождающиеся уже и в них самих чувства людей, отдавших великому, общему делу, от которого не могут отказаться ни под какой грозой.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ КРАВЧИНСКИЙ (СТЕПНЯК)

28 декабря 1895 года громадная толпа жителей Лондона собралась на площади перед вокзалом, чтобы проводить останки умершего русского изгнанника-революционера Сергея Михайловича Кравчинского, писавшего под именем Степняка. По отзывам английской прессы, такого широкого и торжественного выражения общественного сочувствия давно не видал Лондон.

«— Я знал Степняка и в течение нескольких лет пользовался его дружбой и добрыми советами,—говорил в своей прощальной речи член английского парламента, рабочий-социалист Джон Бернс¹.— Я знал его за доброго, верного друга угнетенных всех национальностей... Он соединил в себе сердце льва и добродушие ребенка. Это был великодушный человек и крупная личность в революционном движении Европы. И вот, чтобы засвидетельствовать это перед целым светом, мы сошлись здесь, в самом сердце Лондона, где свободно пользуемся тем, чего так страстно добиваются и за что борются все русские, подобно Степняку...»

«Великодушный человек»... «Сердце льва и добродушие ребенка»... Бернс указал действительно характерные черты погибшего изгнанника.

Джону Бернсу, как и всем своим многочисленным заграничным знакомым и читателям последнего десятилетия, покойник был известен под именем Степняка. Но в революционной, «подпольной России» семидесятых годов одним из самых популярных, самых любимых имен было имя Сергея Кравчинского. Оно тесно срослось с самыми первыми шагами революционного движения.

собственной дневной работы, появлялась среди толпившихся здесь разбитых и потерянных отбросов человечества, чтобы обращаться к ним со своею проповедью. И не все брошенные ими семена упали на каменистую почву. Первым результатом терпеливой, многолетней пропаганды было образование союза среди рабочих газовых заводов...» («Социал-демократ», № 1, стр. 36).

³⁰ Речь идет о романе «Летняя идиллия» А.-Ш. Леффлер-Едгрена. Перевод со шведского, в двух частях («Северный вестник», 1890, № 1—4).

Герой романа — буржуазный интеллигент, индивидуалист, мечтающий о «нравственном самоусовершенствовании» и работе «на благо малых сих» в рамках существующего общественного строя.

Н. Шелгунов писал: «...Поставьте вместо шведских имен русские, и вы подумаете, что перед вами русские энтузиасты-идеалисты, пионеры новой жизненной практики, отдающие все свои силы на благо и просвещение народа» (Н. Шелгунов, Очерки русской жизни, СПб. 1895, стр. 942).

³¹ Имеется в виду роман немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829—1911) «Один в поле не воин».

³² В отдельном издании выпало указание в сноске, имевшееся в журнале (см. ст. П. Аксельрода «Политическая роль Соц.-Демократии», «Социал-демократ», № 2).

О РОМАНАХ СТЕПНЯКА

(«Карьера нигилиста», «Штундист Павел Руденко»)

Перу Засулич принадлежит несколько статей о выдающемся революционном народнике 70-х годов, писателе С. М. Степняке-Кравчинском. Кроме вошедших в настоящий сборник, Засулич напечатала статью в «Социал-демократе» 1890, № 3, представлявшую собой критику вышедшей на немецком языке работы Степняка «Der Terrorismus in Rußland und in Europa». Статью о Степняке общего характера Засулич написала уже после его смерти («Die Neue Zeit», № 16, 1895—1896).

Глубокая дружба связывала Кравчинского и В. И. Засулич. После покушения на Трепова Кравчинский восторженно приветствовал Засулич. Он писал: «Засулич вовсе не была террористкой. Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на закланье, чтобы смыть с партии позорное пятно смертельной обиды».

В своей книге «Подпольная Россия» Кравчинский посвятил Засулич один из «революционных профилей». В 80-е годы Кравчинский с глубоким и все возрастающим интересом относился к деятельности первой русской марксистской группы.

«Мне едва ли нужно говорить Вам, что как политически, так и лично, нет группы, хорошим отношением с которой я бы так дорожил, как с Вами», — писал он Засулич (Из Архива П. Б. Аксельрода, Берлин, 1924, стр. 82).

Кравчинский оказывал практическую помощь группе «Освобождение труда» в издании сборников «Социал-демократ». Так, «для писем, рукописей и денег» редакция указывала лондонский адрес С. М. Кравчинского (Mr. Stepniak, 113 Grove Gardens, N. W. London). На обложке первого номера журнала место издания тоже было обозначено «Лондон». Несомненно, это делалось в целях конспирации, потому что на самом деле «Социал-демократ» выходил в Женеве.

По просьбе В. И. Засулич С. М. Кравчинский рекомендовал группу «Освобождение труда» Лафаргу для приглашения ее на первый учредительный — Парижский — конгресс II Интернационала в 1889 году. Он писал В. И. Засулич о необходимости поездки Плеханова на конгресс: «Что он произвел бы очень хорошее впечатление и не посрамил бы русского имени, это вы сами знаете... Я, вы знаете, во многом не согласен с вашей группой, но это не существенно. Агитационное значение будет отличное, и затем пусть люди рассортировываются, как хотят (сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, стр. 234—235).

Помог Кравчинский и знакомству Плеханова с Энгельсом, прислав денег на поездку Плеханова в Лондон.

Первые, самые мрачные годы эмиграции Плеханова, совпавшие с его тяжелой болезнью и безысходной нуждой, — во многом были облегчены дружеской помощью Кравчинского. «Без вас Жоржа и на свете уже бы не было, — писала ему в 1889 году Засулич (сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, стр. 214).

Члены группы «Освобождение труда» высоко ценили литературные и, в первую очередь, беллетристические работы С. М. Кравчинского, имевшие выдающееся значение для революционной агитации и пропаганды. В этой связи интересно письмо 1895 года, хранящееся в Архиве В. И. Засулич. Сообщая Степняку, что «у нас затевается сборник для рабочих», Засулич пишет ему: «Меня очень просят похлопотать, чтобы Вы дали что-нибудь беллетристическое для этого сборника. Читатель предполагается привыкший к чтению газет, журналов, романов, словом, постоянный посетитель читален...

Статистика народных (городских) читален говорит, что одним из наиболее требуемых романов является «Война и мир» Толстого, и уж на что трудный Тургенев... То обстоятельство, что это популярный сборник для рабочих, должно влиять на выбор сюжета. Просто себе, например, любовная повесть, конечно, не подойдет,

а надо, чтобы что-нибудь было общественное или революционное» (Архив В. И. Засулич, инв. 9832, ед. хр. АД 5.341.76).

Вплоть до смерти Степняка-Кравчинского, члены группы «Освобождение труда» — Плеханов и в особенности Вера Ивановна Засулич поддерживали с ним близкие деловые и личные отношения.

«КАРЬЕРА НИГИЛИСТА»

«Социал-демократ», книга 4-я, 1892. Подпись: В. Засулич

В начале статьи В. И. Засулич писала: «Мы хотели говорить об этом романе, несколько глав которого помещены во второй книжке нашего журнала, лишь поместивши пять последних, по нашему мнению, лучших его глав. Но так как помещение их затягивается, мы решились, не откладывая далее, поделиться с читателями впечатлением, произведенным на нас этим романом».

Впоследствии этот абзац автором был снят.

Роман Степняка-Кравчинского «Карьера нигилиста» вышел на английском языке в Лондоне в 1889 году. Роман вызвал восторженную оценку передовой английской печати. Известный литературный критик Георг Брандес писал в предисловии к датскому переводу романа «Андрей Кожухов»: «Молодые люди, мужчины и женщины, показали Европе, что русский народ вовсе не состоит только из рабов, довольных своим рабством, и таким образом подняли этот народ в глазах Европы».

При жизни Степняка на русском языке в переводе В. И. Засулич были напечатаны только четыре (XXII—XXV) главы из третьей части романа («Социал-демократ», № 2). Здесь впервые роман фигурировал под названием «Андрей Кожухов».

После выхода в свет этого номера журнала С. М. Кравчинский писал В. И. Засулич: «Прочел перевод. Ничего себе. В нескольких местах заметно, что перевод, а именно в том куске, что мне в корректуре не был прислан. Впрочем, ничего крупно нелепого, чего боялся, нет. Так что — спасибо. Зачем только вы написали: «перевод с английского», это можно было смело опустить» (сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, стр. 237). На русском языке роман полностью был напечатан впервые после смерти автора в 1898 году в Женеве под названием «Андрей Кожухов». Перевод Ф. М. Степняк, редактор П. А. Кропоткин; главы, переведенные В. И. Засулич и опубликованные в «Социал-демократе», без изменений были включены в текст книги.

Группа «Освобождение труда» оказала вдове писателя деятельную помощь в издании романа. Вскоре после смерти С. М. Кравчинского В. И. Засулич писала Г. В. Плеханову о том, что сбор с его

реферата можно назначить на издание «Андрея Кожухова». «Это издание единственное спасение для Фанни, и роман милый, и вообще нужно это сделать. Начать надо бы как можно скорей... Для успокоения Фанни, для выражения нашего сочувствия, даже цена должна быть как можно дешевле» (сб. «Группа «Освобождение труда», № 5, стр. 152—153).

После опубликования в Женеве роман «Андрей Кожухов» нелегальными путями стал проникать на родину писателя. В период революции 1905—1907 годов был снят существовавший до того времени в России запрет на сочинения С. М. Кравчинского. Роман «Андрей Кожухов» с цензурными купюрами вышел в Петербурге (1905) и в Москве (1906). В 1907—1908 годах вышло собрание сочинений С. М. Кравчинского (в Петербурге, в издательстве «Свечотч» под редакцией С. А. Венгерова).

¹ После слов *произведений русской литературы* в журнальном тексте в скобках стояло («не исключая, разумеется, и «Нови» Тургенева»).

² В журнальном тексте здесь была следующая сноска: «Мы и не думаем сравнивать талант Степняка с талантом Тургенева. Но в «Нови», именно, поскольку дело идет о революционерах, таланту Тургенева пришлось остаться без употребления по полнейшему, очевидно незнакомству со средой и непониманию изображаемого движения. Революционеры «Нови» не живые люди и даже не карикатуры на людей, а нечто вовсе небывалое и невозможное». При подготовке сборника своих статей В. И. Засулич сняла эти строки.

³ *Земля и Воля* — организация революционных народников 70-х годов.

⁴ *Соловьев* Александр Константинович (1846—1879) — участник революционного движения 70-х годов. 2 апреля 1879 года стрелял в Александра II, был арестован и 28 мая этого же года казнен.

⁵ В статье, помещенной в «Социал-демократе», были затем следующие строки: «Мы с трудом удерживаемся, чтобы не продолжать цитат, чтобы не переполнять нашей статьи выписками из этих последних глав. Но мы боимся ослабить переводом, всегда отстающим в живости от оригинала, впечатление этих глубоко прочувствованных сцен и надеемся, что русский автор скоро сам поделится своим произведением с русскими читателями».

В сборнике статей В. И. Засулич эти строки были опущены, так как роман «Андрей Кожухов» был уже известен русскому читателю.

⁶ Строка из поэмы Н. А. Некрасова «Саша».

⁷ Засулич цитирует поэму Некрасова «Саша». У Некрасова: «Благо наследье богатых отцов освободило от малых трудов».

⁸ В. И. Засулич цитирует девятую статью из цикла В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (см. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1955, т. VII, стр. 478—480).

⁹ «Евгений Онегин», глава вторая, строфа XI.

¹⁰ «Евгений Онегин», глава третья, Письмо Татьяны к Онегину.

¹¹ А. *Стерн* (Александра Алексеевна Венкстери) в повести «Из гнезда» («Русский вестник», 1888, № 2, 3, 4) описывает историю духовного роста молодой девушки, дочери помещика, порвавшей со своей семьей и ушедшей в революцию.

На эту повесть обратил внимание Г. В. Плеханов, посвятивший ей статью «Реакционные жрецы искусства и г. А. В. Стерн». Вопреки реакционным нападкам на нигилистов, которыми прославился катковский «Русский вестник», повесть Стерн, писал Плеханов, показывала, «что не порочные склонности, а, напротив, самые хорошие побуждения толкают русскую молодежь на путь «отрицания» и борьбы с правительством. ...Появление повести на страницах реакционного журнала кажется поэтому плодом какого-то странного недоразумения. Невольно начинаешь думать, что автор нес свое произведение в одну редакцию, да по ошибке попал в другую, а редактор «Русского вестника» по недосмотру напечатал вещь, совсем не подходящую к направлению его работы. Теперь оба они, может быть, и каются, но — уже поздно» (Г. В. Плеханов, Соч., т. X, стр. 412—413).

¹² *Петр Петрович Петух* — персонаж из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

¹³ В статье, напечатанной в «Социал-демократе», была следующая сноска: «Революционерам, действовавшим в то время, он напечтает одного товарища, о котором каждый знавший его, наверное, сохранил самое лучшее, самое симпатичное воспоминание».

В. И. Засулич имеет в виду Зунделевича Арона Исааковича (1854—1923), видного деятеля «Земли и воли» и «Народной воли», члена ее Исполнительного комитета.

Л. Г. Дейч в своих воспоминаниях также указывает, что прототипом Давида являлся Зунделевич (см. «Группа «Освобождение труда», № 2, стр. 216).

¹⁴ *Гольденберг* Григорий Давыдович (1855—1880), член партии «Народная воля», участник ряда террористических актов.

Арестованный в 1879 году, поддавшись на провокацию прокурора, уверившего его, что чистосердечными показаниями он поможет «расчистить широкий путь к свободе русского народа (Вера Фигнер, Полн. собр. соч., М. 1932, т. I, стр. 319), Гольденберг дал откровенные показания, но когда увидел, что обманут, — покончил с собой.

¹⁵ Ковальский Иван Мартынович (1850—1878) — активный участник народнического движения, приговоренный к смертной казни за вооруженное сопротивление, оказанное при аресте. В день вынесения ему смертного приговора (24 июля 1878 года) перед одесским судом состоялась демонстрация революционной молодежи. Ковальский из окна суда увидел народ на улице и крикнул: «Слышите, судьи, слышите, — это голос общественной совести! Общество просыпается от векового сна... Я теперь могу спокойно умереть. Мстить за меня еще впереди!..» («Земля и воля», 1878, № 2).

¹⁶ Судейкин Григорий Порфирович, инспектор секретной полиции, организатор системы политической провокации. Убит в 1883 году членами партии «Народная воля».

«ШТУНДИСТ ПАВЕЛ РУДЕНКО»

«Заря», 1901, № 1, апрель. Подпись: В. З.

Роман С. М. Кравчинского «Штундист Павел Руденко» написан в 1892—1893 годах. Впервые опубликован в переводе на английский язык в Лондоне в 1894 году. На русском языке был издан женой писателя Ф. М. Степняк в Женеве в 1900 году, с предисловием, рассказывающим об обстоятельствах создания романа.

¹ Степняк Фанни Марковна — жена С. М. Кравчинского, участница народнического движения 70-х годов. Была связана с русскими социал-демократами, в качестве гостя присутствовала на Пятом съезде партии (см. сб. «Ленин и Горький», изд. АН СССР, М. 1958, стр. 312).

² «Знаменья времени» — роман Д. Л. Мордовцева (1830—1905), посвященный жизни русской демократической интеллигенции конца 60-х годов XIX века.

³ Строка из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).

⁴ Засулич цитирует стихотворение Некрасова «Зине». У Некрасова: «Мне борьба мешала быть поэтом...»

⁵ Минский Николай Максимович (1855—1937) — поэт-символист.

⁶ Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэтесса, представительница символизма. После Октябрьской революции — белоэмигрантка.

⁷ «Рабочая мысль» — орган петербургских «экономистов».

Письмо, на которое ссылается В. И. Засулич, было помещено в «Рабочей мысли», 1900, февраль, № 8, стр. 10. Подпись: *Практик рабочий*.

Автор сетовал на сухое, непонятное изложение статей в «Рабо-

чей мысли». Он писал: «Не бойтесь, ставьте цель, и вы увидите, как скоро она будет достигнута, вы увидите, что рабочий не просто рабочий, которому нужен кусок хлеба, а еще и честный человек, у которого есть долг гражданина и самоотверженность интеллигента. Может быть, вам покажется смешным, мм. гг., тот факт, что рабочие зачитывали, например, до дыр народовольческую брошюру «Подпольная Россия» и жили вместе с ее героями, забывая всякие опасности и трудности настоящего».

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ КРАВЧИНСКИЙ (СТЕПНЯК)

«Работник», 1896, №№ 1 и 2. Подпись: В. Засулич

Весть о неожиданной трагической смерти С. М. Кравчинского глубоко потрясла революционную русскую эмиграцию, все передовое английское общество.

Из Женевы в Фонд Вольной Русской Прессы в Лондоне была получена телеграмма Плеханова: «От лица всех моих товарищей прошу выразить живейшее сожаление у гроба нашего мужественного Степняка, память которого всегда будет дорога русским социал-демократам» (Дом Плеханова, инв. № 10737, ед. хр. С31).

В. И. Засулич жила в это время в Лондоне; в письме от начала 1896 года она просит Плеханова написать статью о Кравчинском. «Сотни бездарнейших статей были уже о нем написаны, неделю целую ежедневно вся английская пресса была ими переполнена... И ни одного не было сказано живого, его рисующего, слова о нем! А ничто на свете так не отталкивало его, как бездарность» (сб. «Группа «Освобождение труда», № 5, стр. 153).

Плеханов статьи не написал. Группа «Освобождение труда» выступила со статьей Засулич. Как видно из автографа статьи, сохранившегося в архиве В. И. Засулич, Плеханов подверг ее тщательному редактированию и внес около 25 исправлений.

Приводим правку Г. В. Плеханова полностью:

У Засулич

Правка Плеханова

Стр. 125 наст. изд.

...черты умершего друга;

...черты погибшего изгнанника;

Стр. 126

...в кадетском корпусе;

...в Орловском кадетском корпусе;

...в артиллерийском училище;

...в Петербургском артиллерийском училище;

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Р. Ковнатор</i> . В. И. Засулич (К истории русской критики)	3
--	---

СТАТЬИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Наши современные литературные противоречия . .	43
О романах Степняка	
«Карьера нигилиста»	84
«Штундист Павел Руденко»	121
Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк) . . .	125
Крепостная подкладка «прогрессивных» речей . .	136
Плохая выдумка	162
Д. И. Писарев и Н. А. Добролюбов	
Д. И. Писарев	185
Н. А. Добролюбов	260
Примечания	270
Именной указатель	305

№ 1583

Вера Ивановна Засулич
Статьи о русской литературе

Редактор *Е. Мельникова*. Художествен. редактор *Г. Андропова*
Технический редактор *В. Гриненко*
Корректоры *К. Полетика* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 1/III 1960 г. Подписано в печать 14/VI 1960 г.
Бумага 84×108¹/₃₂—9,625 печ. л. = 15,8 усл. печ. л. 17,034 уч.-изд. л. +
+5 вклеек = 17,289 л. Тираж 5000. А-04168. Цена 6 р. 70. Зак. 1180.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза, Ленинград, Измайловский пр., 29.

Д 1960 г.
Акт РК-3973